

Человек с колючим бобриком, в мундире жандармского полковника, по-военному отчеканил свои показания и сел. Он производил у подсудимого обыск, его показания были бесспорны, точны, убийственны. Но подсудимый даже не посмотрел на него. Он не дыша, боясь шевельнуться, прислушивался к мерному топоту солдатских ног: сейчас в зал должен был войти тюремный конвой – и с ним последняя надежда на спасение для подсудимого. Подсудимый знал, что конвоем командует Попов, тоже революционер, как и он сам, и что Попов попытается в удобный момент передать ему револьвер.

Но Попов дошел только до эстрады, на которой сидели судьи: тут, вместо того чтобы подойти с конвоем к подсудимому, он растерянно остановился и, не мигая, вытянув шею, глядел в глубь зала. Шея у него была неожиданно тонкая для его широких плеч – как будто по ошибке взятая от чужого человеческого комплекта. Он стоял и удивленно, забыв обо всем, смотрел на жандармского полковника.

Кроме полковника, никто этого не заметил, никому не понятна была причина происшедшего замешательства. Впрочем, ничего не понял и полковник: он только почувствовал, как немигающий взгляд конвойного офицера с журавлиной шеей споткнулся на нем.

Раньше времени зазвенел звонок: перерыв. Продолжение заседания суда было отложено. Судьи, сверкая генеральскими эполетами, встали, задвигались. Все торопились в буфет, чтобы успеть там наспех проглотить чаю или кофе. Последними вышли из зала огромный краснолицый извозчик и лысый нищий, тоже вызванные в качестве свидетелей по делу.

В буфете после ярко освещенного зала показалось темно – тускловатые, пыльные лампы были вдобавок завешены табачным туманом. Было открыто окно, всякий раз распахивалась дверь от сквозняка, подвешенные к потолку лампы слегка покачивались – и все внизу под ними тоже слегка покачивалось, все было непрочное, как во сне. И в самом деле – особенно после суровой реальности того, что происходило в зале, все здесь было похоже на сон или бред.

Мелькали в дыму солдаты, цыгане, мужики, офицеры. Священник, приводивший на суде свидетелей к присяге, обнимая цыганку, напевал шансонетку. К столику, за которым о чем-то спорили извозчик и нищий, дружески подсел жандармский полковник. «Из-за чего изволите горячиться, ваше превосходительство?» – спросил он нищего. Здесь, во сне, никто не удивлялся, что нищий принял титул превосходительства как должное, но даже и здесь полковнику показалось нелепым, когда нищий сердито показал на извозчика: «Из-за того, что прапорщик Симков позволил себе сесть за мой столик, не спросив разрешения у меня, как полагается по уставу. Он забывает о моем чине!» Прапорщик-извозчик, добродушно колыхаясь животом, захохотал: «Все мы тут, дорогой мой, в одном чине: фи-гу-ранты! И всем нам одна цена: сто франков в день. Исключение – полковник: во-первых, получает сто двадцать, во-вторых – играет самого себя. Это называется „повезло“!»

И действительно, повезло: в этом фильме из русской жизни бывшему жандармскому полковнику дали роль жандармского полковника. Режиссер говорил, что он играет превосходно, а он совсем не играл: он просто стал прежним самим собой. Стал настолько, до таких мелочей, что вот сейчас, закурив папиросу, помахал спичкой совершенно прежним ленивым жестом – и, как бывало тогда, бросил спичку еще горячей.

Сверху, из табачного тумана, спустилась рука и взяла из пепельницы еще горевшую спичку. Полковник взглянул вверх – и встретился с глазами длинношеего конвойного офицера Попова. Нагнувшись, Попов пристально смотрел полковнику прямо в лицо. Догоревшая спичка обожгла ему пальцы, он бросил ее, не закурив, – и молча исчез в фантастической толпе цыган, солдат, мужиков.

«Что это значит?» – сказал полковник. «Что – что значит?» – удивленно переспросил извозчик. Полковник попробовал объяснить, но не мог, потому что ничего, в сущности, не произошло. Вернее, произошло только одно: полковнику показалось, что этого длинношеего офицера он уже встречал когда-то. Но когда? Где? В Крыму? В Константинополе? Он никак не мог вспомнить, и это не давало ему покоя, как застрявшая где-то в зубах незаметная рыбья косточка, которую непременно нужно вынуть.

Прапорщик-извозчик, вкусно подхохатывая, рассказывал что-то про цыганку, про какую-то подвязку, но слова не доходили до полковника: мешала рыбья косточка. А может быть, и не в ней было дело: просто хотелось пить, а кофе еще до сих пор им не принесли. Гарсон опять пролетел в тумане мимо их столика. Полковник обернулся, чтобы поймать его, – и сзади себя, совсем близко, снова увидел Попова: перед самым носом священника он встряхивал на ладони два револьвера. «За каким чертом ты таскаешь с собой настоящий револьвер, раз тебе здесь дают бутафорский?» – спросил священник. «Об-обожаю револьверы... с детских лет...» – сказал Попов, слегка заикаясь.

Как только полковник услышал этот захлебывающийся, заикающийся голос, в голове у него, как в театре, мгновенно раздернулся какой-то занавес – и он все вспомнил, даже увидел с какой-то испугавшей его самой ясностью.

Этот человек, тогда – в студенческой форме, сидел спиной к нему, нагнувшись над железным столиком тюремной камеры. Полковник смотрел на него сквозь стеклянный глазок двери. Студент увлекся и не замечал ничего: перед ним на столике были сделанные из хлеба шахматы, он играл сам с собою. Полковник вошел в камеру, схватил разграфленный листок бумаги вместе с шахматами, скомкал и сунул к себе в карман. Он был сам шахматист и знал, что это будет самым чувствительным наказанием для заключенного, а этот упрямец заслуживает наказания. Студент взглянул на полковника и ничего не сказал, только сделал глотательное движение, на тонкой шее поднялся вверх и опустилсся кадык. Полковник, не отрывая глаз от его шеи, сказал очень ласково: «Вы получите свидание с вашей невестой. Я объяснил ей, что если вы будете молчать, то вам грозит петля, и она обещала убедить вас быть откровенней».

Свиданий с невестой у студента было не одно, а несколько. Это тянулось целый месяц. Полковник слышал, как девушка плакала, умоляла, целовала. В конце концов студент заговорил откровенно. Когда полковник подписал приказ о его освобождении, студент секунду, не мигая, смотрел на него ненавидящими глазами, потом, заикаясь, сказал: «Ллучше бы вы меня повесили! И з-знаете, если мы к-когда-нибудь встретимся...» Он запнулся и так, не кончив фразы, ушел.

И вот – теперь, здесь – они встретились. Кругом них в бредовом тумане мелькали ненастоящие цыгане, офицеры, мужики, нищие. Прежние свои роли играли только они двое: полковник – себя, Попов – революционера, хотя он и был теперь в офицерской форме. И в буфете уже звенел звонок, призывая их продолжать игру – и, может быть, теперь закончить ее.

Прапорщик-извозчик и превосходительный нищий ушли еще до звонка. Полковник шел в студию один. Из головы у него не выходил этот студент. Полковник вспомнил, что его

невесту звали Мусей и что однажды он увидел, как она, покраснев, старалась спрятать палец, высунувшийся из прорванной перчатки, но лицо ее он совершенно забыл. «Какая странная вещь – память: забыть человеческое лицо – и запомнить прорванную перчатку...» – подумал полковник.

Он открыл дверь – и увидел себя на полутемном дворе, заваленном какими-то огромными пустыми ящиками. Он понял, что забыл вовремя свернуть направо, и никак не мог сообразить сейчас, куда идти. Ощупью он нашел наконец дверь, через которую попал сюда, дернул ее – остановился: перед ним стоял «Попов». Вытянув длинную шею, усмехаясь, он сказал: «За-за-заблудились?» И продолжал стоять, глядя на полковника и держа руки в карманах.

«Сейчас он вынет из кармана револьвер...» – волосы на голове у полковника стали колючими. Он рассердился на себя и решительно шагнул на Попова: «Позвольте пройти!» Попов, не вынимая рук из кармана, посторонился. Полковник шел и слышал сзади себя шаги, все ближе. Он изо всех сил старался идти не спеша – и чувствовал, что идет все быстрее.

В студию он вбежал, запыхавшись. Его уже ждали. Режиссер громко, при всех, сделал ему замечание, но полковник подумал только об одном: наверное, он – этот Попов – тоже слышит это...

Полковник оглянулся: Попов сидел направо, немного сзади, так что полковнику нужно было только чуть повернуться, чтобы увидеть эти немигающие, неотступные глаза. Потом, уже не поворачиваясь, он как-то затылком, шеей, правым ухом (оно горело) почувствовал на себе этот взгляд – и это связывало его, опутывало как паутина.

Режиссер крикнул: «Allons!», лампы зашипели. Полковник встал, чтобы снова повторить свои десять убийственных для подсудимого слов. Он хотел, как делал тот, прежний полковник, вытянуть руку, показывая на подсудимого, но искоса, углом глаза, увидел: держа руки в карманах, Попов тоже встал. Полковник сделал рукой какое-то совершенно нелепое, деревянное движение и замолчал среди фразы: все слова вдруг вылетели из головы: «Да вы что – хватили лишнее или больны? – закричал на него режиссер. – Уходите вон! Проветритесь – тогда придете...»

Кто-то засмеялся. Согнувшись, стараясь быть поменьше, понезаметней – полковник вышел из студии. Впрочем, он уже не был полковником, как все эти дни: он снова стал тем человеком, который недавно мыл окна и получал на чай. Он шел по длинному, белому, пустому коридору и, стиснув кулаки, мысленно говорил режиссеру все то, что он вслух сказал бы, если бы мог.

В буфете было безлюдно, из экономии горела теперь только одна лампа. Полковник сел за столик, заказал кофе, потом остановил буфетчика: «Нет, лучше дайте коньяку!» Буфетчик что-то переспросил. «Ах, да все равно что – только поскорей!» – с досадой махнул полковник рукой: он, кипя, продолжал объясняться с режиссером, а тут этот буфетчик...

И вдруг он забыл сразу и режиссера, и обиду, и буфетчика, и все: к его столику от дверей шел Попов, покачивая головой на тонкой шее. Он остановился перед полковником и, как будто еще не решаясь, нащупывал что-то в кармане рукой. Полковник уже знал, что такое это «что-то». Сердце у него заколотилось, но его руки и ноги были спутаны какой-то паутиной, он не мог ни встать, ни крикнуть.

Буфетчик принес кофе и коньяк, поставил на столик и ушел в кухню. Бывший полковник и

бывший студент остались вдвоем. Полковник слышал, как жужжа о потолок, шлепалась большая муха.

– А ведь я вас сразу узн-узнал... – сказал «Попов», снова пошевелив рукою в кармане.

Полковник хотел сказать: «Что вам от меня нужно?» – но понял, что это выйдет нелепо, смешно: он ведь знал, зачем нашел его здесь этот человек. Он ждал, не двигаясь, только сердце у него заколотилось еще сильнее.

– Помните, как вы в к-к-камере взяли у меня шахматы? – и сказали, что вы т-т-тоже шахматист? Я все п-п-помню! – продолжал «Попов», хитро щурясь и понемногу, медленно вынимая руку из кармана.

Полковник видел теперь только эту руку, она заполняла собою весь мир. Он увидел, как вышла кисть, увидел черные часы на ремешке с наискось треснувшим стеклом. Оставалась еще секунда. Полковник втянул голову в плечи, как черепаха, и закрыл глаза.

Прошла секунда, две – выстрела не было. «Целится...» – мелькнуло в голове, и, не выдержав, полковник открыл глаза.

«Попов» стоял перед ним, вытянув руку. В руке у него была карманная шахматная доска.

– Сыграем? – сказал он и, не дожидаясь ответа, сел напротив полковника.

1935 год